

КОЛЕТТ
СТРАННИЦА



Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
К 60

Colette
LA VAGABONDE. L'ENTRAVE

Перевод с французского Лилианны Лунгиной
Серийное оформление Владимира Гусакова
Оформление обложки Татьяны Павловой

Колектт

К 60 Странница ; Преграда : романы / Колектт ; пер.
с фр. Л. Лунгиной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус,
2025. — 480 с. — (Настроение читать).

ISBN 978-5-389-28261-2

В настоящее издание вошли два романа Сидони-Габриэль Колектт о Рене Нери — «Странница» и «Преграда». Эта дилогия является художественным отражением биографии самой Колектт, личность которой стала ярким символом «прекрасной эпохи», а жизнь — воплощением стремления к свободе. Искренность, тонкий психологизм, красота слога и реализм, достойный Бальзака и Мопассана, сделали Колектт классиком французской словесности.

Рене Нери танцует в мюзик-холле, приковывая взгляды искушенной парижской публики. Совсем недавно она была добропорядочной замужней дамой, женой успешного салонного художника. Не желая терпеть унижения и постоянные измены мужа, она ушла искать собственный путь и средства к существованию. Развод в глазах ее прежнего буржуазного круга уже более чем скандальная выходка. Но танцы на сцене в полуобнаженном виде — безоговорочное падение на самое дно. Но для самой Рене ее новая жизнь, несмотря на все трудности и усталость, — свободный полет. Встречая новую любовь, она страшится лишь одного — утратить свою независимость. И в то же время чувствует, что настоящая любовь и есть истинная свобода.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

© Л. З. Лунгина (наследники), перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®

ISBN 978-5-389-28261-2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Половина одиннадцатого... А я уже готова, опять слишком рано. Браг, мой партнер, — с его легкой руки я и попала в пантомиму — вечно ругает меня за это, не очень-то стесняясь в выражениях:

— Чертова дилетантка! Спешит как на пожар. Если жить по-твоему, то уже в половине восьмого, за ужином, давясь салатом, надо начинать мазать морду тоном...

Три с половиной года работы в мюзик-холлах и театрах ничему меня не научили: я всегда бываю готова раньше, чем нужно.

Десять тридцать пять... Если я не раскрою сейчас эту книгу, читаную-перечитаную, — она почему-то валяется на гримировальном столике — или газету «Пари-Спор», которую костюмерша исчеркала моим карандашом для бровей, отмечая победителей, я окажусь наедине с собой, лицом к лицу с этой загримированной наперсницей, что уставилась на меня из глубины зеркала своими запавшими глазами, окаймленными жирной лиловой подводкой. У нее розовые скулы того яркого тона, что у садовых флоксов, и красные в черноту губы, блестящие, будто лакированные... Она долго-долго гля-

дит на меня в упор, и я знаю, что она вот-вот заговорит... Она скажет мне:

«Неужели это ты?.. Совсем одна, в этой камере с белыми стенами, которые нетерпеливые руки, заточенные здесь, не знающие, чем заняться, исчертили сплетенными инициалами и непристойными наивными рисуночками. На этих алебастровых стенах чьи-то ногти, покрытые алым лаком, как твои, процарапали какие-то знаки — как бы вырвавшийся из подсознания вопль одиночества... Вот у тебя за спиной явно женская рука начертила: Мари... Росчерк в конце слова взмывает вверх, будто крик... Неужели это ты, совсем одна, под этим гудящим потолком, который сотрясается, словно корпус работающей мельницы? Почему ты здесь совсем одна? Здесь, а не в другом месте?..»

Да, это опасные минуты прозрения... Кто постучит в дверь моей гримуборной? Чье лицо заслонит меня от глаз моей загримированной наперсницы, которая следит за мной из глубины зеркала?.. Его Величество Случай, мой друг и властелин, надеюсь, окажет мне милость и пришлет вестников из своего сумбурного царства. Я теперь верую только в него и в самое себя. Но главным образом, конечно, в него, ведь он всякий раз успевает вытащить меня из воды, когда, захлебнувшись, я иду ко дну, хватается меня, словно пес, за загривок и трясет, чуть прокусив зубами мою шею... Так что при каждом приступе отчаяния я жду теперь не своего конца, но приключения, маленького банального чуда, того, что соединит блестящим колечком разъятую цепь моих дней.

Это вера, настоящая вера, с ее подчас наигранным ослеплением, с лицемерием ее отрешений от всего на свете, с упрямой надеждой даже в тот миг, когда орешь не своим голосом: «Все меня оставили, все, все!..» И в самом деле, когда я в сердце своем назову Его Величество Случай иным именем, то стану образцовой католичкой.

Как вздрагивает пол там, наверху! И неудивительно, ведь холод собачий: русские танцоры усерднее обычного бьют чечетку, чтобы согреться. Когда они все вместе хриплыми фальцетами заорут «И-ех!», будет одиннадцать десять. Здесь я узнаю время не по часам. Все выверено до минуты, и так целый месяц, безо всяких сбоев. Десять часов — я прихожу. Госпожа Кавалье поет три песни: «Бродяжки», «Я целую тебя на прощанье», «От горшка два вершка». Антоньев со своими собачками — десять двадцать две. Выстрел, лай — это кончается номер с собачками. Скрежещет железная лестница, кто-то кашляет — это спускается Жаден. Кашель прерывается проклятиями, потому что всякий раз она наступает на подол своего платья, это уже стало каким-то ритуалом. Десять тридцать пять — выступает куплетист Бути. Десять сорок семь — русские танцоры. И наконец, одиннадцать десять — я!

Я... Мысленно произнеся это слово, я невольно поглядела в зеркало. И в самом деле, это я сижу здесь с ярко нарумяненными щеками и подведенными синим карандашом глазами, густая краска на веках оплывает от жары... Неужели я буду ждать, пока весь мой грим не потечет? Буду ждать, пока мое отражение не превратится в разноцветную

расплывшуюся кляксу, прилипшую к зеркальному стеклу, словно какая-то нечистая слеза?

Ну и холод, зуб на зуб не попадает! Я зябко потираю руки, какие-то серые от холода под тонким слоем жидкого тона, который, застывая, покрывается, словно паутиной, сеткой мелких трещин. Черт возьми, да батарея же просто ледяная! Ведь сегодня суббота, а по субботам здесь не топят — пусть, мол, весело галдящие, подвыпившие простолюдины согревают зал своим дыханием. А об артистах в гримуборных никто не думает. От удара кулака затряслась дверь, и даже в ушах у меня зазвенело. Я поворачиваю ключ и впускаю своего партнера Брага. Он уже в костюме румынского бандита и искусно загримирован «под загар».

— На выход!

— Знаю. Заждалась уже. Тут околеешь от холода.

На верхних ступеньках железной лестницы, ведущей на сцену, сухой, пыльный, горячий воздух окутывает меня, как удобный, но грязный плащ. Пока Браг педантично следит за тем, чтобы все поставили где положено и чтобы не забывали приподнять у задника софит, изображающий свет заходящего солнца, я машинально смотрю в светящийся глазок в занавеси. Обычная субботняя публика в самом популярном кафешантане этого района. Зал погружен в полутьму, направленные на сцену прожектора его плохо освещают, и вы могли бы смело биться об заклад на сто су, что не увидите там ни одного белого воротничка, ну просто ни единого, от первого ряда партера до галерки. Рыжеватое облако табачного дыма висит в воздухе, распростра-

няя отвратительный запах погасших трубок и дешевых сигар, которые курят где-то в отдалении. Зато на авансцене — настоящий цветник... Прекрасная суббота! Но, как говорит малютка Жаден:

— Плевать я на это хотела, мне со сбора не платят!

С первых же тактов нашей увертюры я чувствую себя легко, словно заново рожденной, невесомой и свободной. Облокотившись о нарисованный на заднике балкон, я безмятежно гляжу на грязный пол (земля и глина, принесенные на подметках башмаков, пыль, клочья собачьей шерсти, раздавленная канифоль — все это толстым слоем покрывает планшет сцены, на который я через несколько секунд должна буду стать голыми коленями) и вдыхаю химический запах искусственной красной герани. С этого мига я себе больше не принадлежу, все пойдет как положено. Я знаю, что не споткнусь во время танца, что не зацеплю каблуком подол юбки, что упаду как подкошенная, когда Браг грубо швырнет меня на пол, но при этом не окровавлю себе локтей и не расквашу нос. И мускул не дрогнет на моем лице, когда в самый драматический момент молоденький рабочий сцены, стоя в кулисах, начнет, как всегда, производить губами громкие физиологические звуки, чтобы заставить нас засмеяться... Бьющий в глаза свет прямо выталкивает меня вперед, музыка управляет моими движениями. Таинственная дисциплина сцены порабощает меня и одновременно защищает. Все идет хорошо.

Все идет даже очень хорошо. Необузданная публика субботнего вечера наградила нас рукоплесканиями, криками «Браво!», свистом, восторженны-

ми воплями и громкими непристойностями, которые выкрикивали, конечно же, в знак одобрения. А я даже получила грошовый букетик — он угодил мне прямо в губы, — букетик блеклых, анемичных гвоздик, которые цветочница, прежде чем уложить в свою корзинку, окунает в окрашенную воду, чтобы придать им хоть какой-то цвет... Я уношу его домой, приколов к отвороту жакета: он пахнет перцем и псиной. Уношу я и записку, которую мне только что передали:

Мадам, я сидел в первом ряду партера. Ваш мимический талант заставляет меня предположить, что вам присущи и другие таланты, куда более изощренные и захватывающие. Не доставите ли вы мне удовольствие поужинать сегодня со мной...

Внизу стоит: «Маркиз де Фонтанж». Бог ты мой! Да-да, именно «маркиз», а записка написана в кафе «Дельта»... Сколько отпрысков дворянских семей, казалось давно уже угасших, обжились теперь в том кафе?.. Как это ни покажется неправдоподобным, но я просто носом чую, что этот маркиз де Фонтанж состоит в близком родстве с неким графом де Лавальер, который на прошлой неделе приглашал меня на фэйф-о-клок в свою холостяцкую квартиру. Банальное жалкое вранье. Но в нем слышится романтическая тяга к светской жизни и уважение к родовым гербам, которое еще живо в этом шумном квартале шалопаев и забулдыг в видавших виды кепках.

С глубоким вздохом, как обычно, захлопываю я за собой дверь своей квартиры на первом этаже. От усталости? Или оттого, что можно наконец рас-

слабиться? От облегчения или от страха одиночества? Не будем уточнять, не будем!

Что со мной нынче вечером?.. Должно быть, все дело в этом декабрьском ледяном тумане. Иголочки инея дрожат в свете газовых фонарей, окружая их радужными ореолами, и тают на губах, оставляя во рту едкий запах креозота. К тому же этот новый район, раскинувшийся за площадью Терн, в котором я сейчас живу, весь белый, оскорбляет взгляд и угнетает сознание.

В зеленоватом свете фонарей моя улица в эти ночные часы как бы выставляет напоказ гладкую штукатурку своих домов цвета пралине, цвета кофе мокко и желтой карамели — они похожи на оплывший кремовый торт, в котором вместо кусочков нуги белеют блоки бутового камня. Даже мой дом, стоящий чуть на отшибе, выглядит каким-то «невсамделишным», однако его новые стены и тонкие перегородки дают за умеренную плату вполне комфортное прибежище «одиноким дамам» вроде меня. Когда ты «одинокая дама», то есть являешься для домовладельцев парией, внушаешь им ужас и отвращение, то не приходится особо выбирать, живешь где попало и вдыхаешь запах сырой извести... Дом, в котором я живу, великодушно приютил целую колонию «одиноких дам». Квартиру на бельэтаже занимает официальная любовница Яна — главы автомобильной фирмы «Авто Ян». Над ней живет холеная и избалованная подруга графа де Бравай. Еще выше — две сестры-блондинки, к которым ежедневно приходит один весьма респектабельный господин из высоких промышленных кругов. А самую верхнюю квартиру занимает гулящая девка, которая не знает покоя ни днем, ни ночью, словно

взбесившийся фокстерьер. От нее все время доносятся какие-то крики, кто-то там барабанит на пианино, кто-то поет, а из окон швыряют на улицу пустые бутылки.

— Она позорит наш дом! — сказала как-то госпожа Авто Ян.

И наконец, на первом этаже, на уровне земли, живу я, которая не кричит, не играет на пианино, не принимает никаких господ, а уж тем более дам. Барышня легкого поведения с пятого этажа производит слишком много шума, я же — слишком мало, и консьержка не упускает случая меня в этом упрекнуть:

— Весьма странно, никогда не поймешь, дома ли мадам или нет. Вас решительно не слышно. Вот уж не подумаешь, что вы артистка!

Ах, до чего же уродлив этот декабрьский вечер! От калорифера почему-то несет больницей. Бландина забыла положить в постель бутылку с горячей водой, а моя собака явно в дурном настроении: ворчит, мелко дрожит от холода и едва достаивает меня взгляда, чуть подняв свою серо-белую морду. Она даже не вылезла из корзинки! Я вовсе не требую, чтобы меня встречали триумфальными арками и иллюминацией, но все же...

О! Сколько бы я ни искала во всех углах, под кроватью, везде, тут нет никого, никого, кроме меня. И в большом зеркале моей спальни отражается не заgrimированная цыганка, а... я.

Так вот, значит, я такая, как есть, без грима! В этот вечер мне не удастся избежать встречи с большим зеркалом, разговора с собой, от которого я сто раз уже уклонялась, — начинала его, бежа-

ла от него, возобновляла и опять обрывала... Увы, на этот раз — я это заранее чувствую — все попытки отвлечься будут тщетными. В этот вечер мне не удастся и заснуть, это ясно, и прелесть книги — новой книги, только из типографии, пахнувшей бумагой, краской, запах которой вызывает в памяти морской прибой, паровозы, отъезды, — прелесть книги не отвлечет меня от себя самой...

Так вот, значит, я такая, как есть, без грима! Одна, одна, и, наверное, на всю жизнь. Уже одна! Рановато. Я уже перешагнула через рубеж тридцати лет, но не почувствовала себя при этом несчастной. Ведь лицо, на которое я сейчас смотрю, — мое лицо — ни для кого не представляло бы никакого интереса, не будь живости выражения, напряженности взгляда и той несмелой улыбки, что вот-вот готова осветить его, той улыбки, которую Маринетти называет *gaiezza volpina*... Бесхитростная лисичка, тебя и курица одолеет! Лисичка безо всяких желаний, которая помнит лишь капкан и клетку... Веселая лисичка, да, но только потому, что в уголках рта притаилась неосознанная улыбка... Лисичка, уставшая от танца, но неспособная сопротивляться звукам музыки.

А ведь я и в самом деле похожа на лисичку. Но ведь красивая, тоненькая лисица — это же не уродливо, верно? Правда, Браг говорит, что я бываю похожа на крысу, когда вдруг выпячиваю губы и прищуриваюсь, чтобы лучше видеть... Но я не обижаюсь.

До чего же я не люблю себя, когда мой рот, как сейчас, искажен гримасой отчаяния, плечи вяло опущены и все мое унылое тело стало каким-то ко-

собоким — отдыхая, я перенесла центр тяжести на одну ногу!.. Волосы мои развились и висят, словно ветви плакучей ивы, — их надо будет долго разглаживать щеткой, прежде чем они снова заблестят, как бобровая шкурка. Под глазами нестертые тени синей подводки, сомнительные следы облупившегося красного лака на ногтях... Наверное, придется мокнуть в ванне не меньше сорока-пятидесяти минут, прежде чем приведу себя в порядок... Уже час ночи... Чего это я, собственно говоря, жду? Очевидно, нужен удар хлыста, резкий, чувствительный удар, чтобы сдвинуть с места заупрямившуюся скотину... Но мне не от кого его ждать. Потому что... Да потому что я здесь совсем одна! И в продолговатом кадре зеркальной рамы прекрасно видно, что я уже привыкла жить одна.

Ради любого пришедшего сюда человека, будь он хоть кто — посыльный из магазина или моя горничная Бландина, я бы тотчас подняла свою бесильно упавшую голову, подтянулась, выпрямив свое скривившееся тело, я бы соединила опущенные руки... Но этой ночью я так безнадежно одна...

Одна! Похоже, я жалуюсь!

— Раз ты живешь одна, — сказал мне как-то Благ, — значит тебе это нравится, ты сама этого хочешь, ведь так?

Конечно, «мне это нравится», я ведь сама этого «хочу». Но вот только... бывают дни, когда одиночество в мои годы — хмельное вино, которое пьянит свободой, в другие дни оно горькая тонизирующая настойка, но, увы, бывают и такие дни, когда оно яд, от которого бьешься головой об стену.

Но сегодня мне хотелось бы ничего не выбирать, а лишь сомневаться и не знать в точности, отчего я вздрагиваю, скользнув в ледяные простыни, — от страха или от наслаждения.

Одна... и уже давно. Потому что у меня появилась эта привычка говорить сама с собой, с огнем в печи, со своим отражением в зеркале... Это мания, которая бывает у отшельников и заключенных. Но ведь я свободна... и если веду внутренние диалоги, то это из склонности к писательству, к тому, чтобы точно формулировать свои мысли и находить им ритмы.

На меня смотрит из глубины зеркала, из таинственной камеры отражений, образ «писательницы, которая плохо кончила». Про меня также говорят, что я «занимаюсь театром», но меня никогда не называют актрисой. Почему? Тут тонкий нюанс, вежливый отказ публики, да и моих друзей тоже, признавать, что я хоть чего-то достигла на том поприще, которое теперь себе избрала... «Писательница, которая плохо кончила» — вот кем я должна для всех остаться, хотя я больше не пишу, не позволяю себе радости, роскоши писать...

Писать! Иметь возможность писать! Это значит подолгу сидеть, склонившись над пустой страницей, о чем-то задумавшись, машинально что-то чертить на полях, водить пером вокруг кляксы, подыскивая замену неточному слову, зачеркивать его сперва одной чертой, потом множеством мелких, превратить его сначала в колючку, затем разукрасить усиками и лапками, чтобы оно потеряло свой облик, свой смысл, стало бы каким-то фантастическим насекомым и в конце концов улетело бы, будто волшебная бабочка.

Писать... Это значит не сводить загнипнотизированного взгляда с отражения окна на серебряной чернильнице и, умирая от счастья, записывать холодеющей рукой слова, в то время как лоб и щеки пылают божественным жаром. А еще это значит потерю чувства времени, ленивое валянье на диване, разгул выдумки, после которого чувствуешь себя разбитой, поглупевшей, но вознагражденной за потраченные усилия теми добрыми сокровищами, которые потом медленно перекладываешь на девственный лист бумаги, лежащий в небольшом кругу света от настольной лампы...

Писать! Скорее обнажить в каком-то порыве бешенства всю свою подноготную на таком соблазнительно чистом листе бумаги. Скорее, скорее, но рука не поспевает за мыслью, отказывает, загнанная бесом нетерпенья... А наутро увидеть на исписанном листе вместо золотого цветка, чудом распустившегося в час вдохновения, высохший стебелек с таким чахлым увядшим бутоном...

Писать! Это радость и страданье праздных людей! Писать!.. Я и теперь еще испытываю время от времени неодолимую потребность, подобную жажде летом, записывать, описывать... Я хватаю ручку, чтобы начать эту гибельную и разочаровывающую игру, чтобы поймать и зафиксировать раздвоенным кончиком стального перышка блистательное, неуловимое, захватывающее определение... Но это лишь короткие приступы старой болезни, невыносимый зуд уже давно зарубцевавшейся раны...

Ведь нужно так много свободного времени, чтобы писать! И к тому же я не Бальзак... Хрупкая сказочка, которую я пытаюсь сочинить, разом рушит-

ся, стоит лишь постучать в дверь посыльному из лавки или подмастерью сапожника со счетом на заказанные мною туфли, или позвонить по телефону моему адвокату или театральному импресарию, чтобы пригласить меня в свою контору и договориться о моем выступлении на «званом вечере в одном весьма фешенебельном доме, хозяева которого, увы, не имеют привычки платить высокие гонорары»...

А с тех пор как я живу одна, мне прежде всего надо было суметь выжить, затем развестись и продолжать жить. Все это потребовало невообразимых сил и упорства. Чтобы достичь чего? Нет у меня другой пристани, кроме этой заурядной комнаты, обставленной дешевой мебелью, так сказать, в стиле Людовика XVI, нету другого места, кроме как перед этим зеркалом, в которое нельзя войти, и я упираюсь лбом в лоб своего отражения!..

Завтра воскресенье. Два спектакля утром и вечером в «Ампире-Клиши». Сейчас уже два часа ночи!.. Писательнице, которая плохо кончила, пора спать.

— Да пошевеливайся ты поскорей! О боже!.. Скорей, слышишь!.. Жаден не явилась.

— Как не явилась? Заболела?

— Еще чего! Загуляла!.. Но нам один черт: выходить на двадцать минут раньше!

Мим Браг выскочил из своего закутка, где он гримируется, — страшный, покрытый тоном цвета хаки, — чтобы предупредить меня, и я опрометью кидаюсь в свою гримуборную, в ужасе от мысли, что могу впервые в жизни не быть готовой вовремя.

Жаден не явилась! Я тороплюсь, дрожа от волнения. С нашей публикой шутки плохи, особенно на воскресных утренниках. Если мы хоть на пять минут «оставим их голодными», как говорит наш Режиссер-Укротитель, — его так прозвали, потому что он единственный, кто умеет управляться с этим залом, затянув паузу между номерами, — то не избежать гневных криков; окурки и апельсиновые корки так и полетят на сцену.

Жаден не явилась... Этого следовало ожидать.

Жаден — наша новенькая певичка. Она так недавно выступает на эстраде, что не успела еще вытравить свои каштановые волосы перекисью водорода. Дитя Внешних бульваров, она одним прыжком оказалась на сцене кафешантана и обалдела от того, что стала зарабатывать двести франков в месяц за исполнение песенок. Ей восемнадцать лет. Удача (?) безжалостно стиснула ее в своих объятиях, и она, по-бойцовски упрямо склонив свою голову и вся подавшись вперед, как бы локтями защищается от ударов грубой, обманной судьбы.

Она поет, как поют белошвейки, как поют на улице, не подозревая даже, что можно петь по-другому. Она безжалостно форсирует свое надсадное, хватающее за душу контральто, которое так подходит к ее румяным щекам и надутым губкам девчонки из предместья. Таковую, какая она есть, в чересчур длинном платье, купленном в первой попавшейся лавочке, с каштановыми волосами, которые она даже не завивает, с опущенным плечом, будто от тяжести бельевой корзинки, с пушком на верхней губе, белом от грубой пудры, публика ее обожает. Наша директриса обещала ей с будущего сезона

крупный шрифт в афише, как второй «звезде» программы, а может, даже и надбавку. На сцене Жаден так и сияет, там ей море по колено. Каждый вечер она узнает кого-нибудь из зрителей на галерке, своих товарищей по детским развлечениям, и, ничтоже сумняшеся, прерывает вдруг свою душещипательную песенку, чтобы весело подмигнуть им, прыснуть от смеха, как школьница, а то и звонко шлепнуть себя по ляжке... Вот ее-то и нет сегодня в программе. Через полчаса они поднимут в зале невообразимый шум и начнут орать «Жаден! Жаден!», стучать деревянными подметками своих башмаков и звенеть кофейными ложечками в чашках.

Того, что Жаден не явится на спектакль, можно было ожидать. Тут же за кулисами пополз слух, что она вовсе не больна. И наш помреж ворчит:

— Да, грипп у нее, как бы не так!.. В койку она упала, вот что! Там ее живо вылечат. Если бы она по-настоящему заболела, то предупредила бы...

Жаден как будто нашла себе обожателя, причем не из этого района. Жить-то надо... Впрочем, она и так жила то с одним, то с другим — короче, со всеми... Увижу ли я когда-нибудь снова ее тоненькую фигурку, всю подавшуюся вперед, с наклоненной по-бойцовски головой, в надвинутой до бровей пилотке — «последний крик моды», — которую она сама себе спроворила? Еще вчера вечером она, приоткрыв дверь, просунула в щель кое-как напудренную мордашку, чтобы похвалиться своим последним произведением — меховой шапочкой из кролика «под песка», чересчур узкой, плотно прижимающей к голове ее маленькие розовые ушки.

— Прямо вылитый Аттила! — сказал Браг очень серьезным тоном.

Длинный коридор, в который входят все двери крошечных гримуборных, гудит, как потревоженный улей. Оказывается, все предчувствовали этот побег и теперь посмеиваются, все, кроме меня... Бути, комик-куплетист, прогуливается перед моей дверью в гриме гориллы, со стаканом молока в руке и витийствует:

— Яснее ясного! Я-то думал, она проторчит здесь еще дней пять-шесть, ну максимум месяц! Представляю себе рожу нашей хозяйки... Но даже после этого горького опыта она и не подумает прибавить артистам, которые тянут на своих плечах всю программу. Запомните, что я вам скажу: Жаден вернется. Эта эскапада — не более чем экскурсия. У нее свой стиль жизни, ее содержателя надолго не хватит, уж поверьте...

Я отворяю дверь, чтобы поговорить с Бути, не прекращая мазать руки белилами.

— Она вам ничего не рассказывала, Бути?

Он пожимает плечами, повернув ко мне лицо в маске рыжей гориллы с обведенными белым глазами:

— С чего бы! Я ведь ей не мать...

Он маленькими глотками потягивает молоко, голубоватое, как раствор крахмала. Бедный милый Бути со своим хроническим энтеритом и неизменной бутылкой молока! Без красно-белого грима его умное, с мягкими чертами лицо выглядит каким-то болезненно-трогательным. У него красивые нежные глаза и отзывчивое сердце бездомной собаки, готовое обожать всякого, кто его приласкает. Его болезнь и тяжелая профессия день ото дня убивают его, питается он только молоком и макаронами без соуса и при этом находит в себе силы петь

и плясать негритянские танцы в течение двадцати минут. По окончании номера он всякий раз, вконец измученный, буквально падает за кулисами, не в состоянии спуститься вниз в свою гримуборную... Его хилое тело, словно труп, распростертое на полу, часто преграждает мне путь на выход, и я совершаю над собой усилие, чтобы не наклониться над ним, не приподнять его, не позвать на помощь. Его товарищи и старый машинист сцены, стоя неподалеку, лишь покачивают головами и говорят со значением: «Бути — из тех артистов, кто выкладывается до конца».

— Скорей, скорей, поезд отходит! Они там, в зале, не так уж бесятся из-за отсутствия Жаден. Нам повезло!

Браг подталкивает меня вверх по железной лестнице. От пропыленной жары и резкого цвета прожекторов у меня начинает кружиться голова. Утро пронеслось, словно беспокойный сон, я оглянуться не успела, как пролетела половина дня, остался только нервический озноб и какое-то томление в желудке, которое бывает, когда тебя вдруг резко будят посреди ночи. Через час уже время обедать, а потом придется брать такси, и все начинать сначала... И так я буду жить еще целый месяц! Нынешний спектакль пользуется, можно сказать, успехом, и его надо сохранить до обновления программы.

— Нам здесь хорошо, — говорит Браг. — Сорок дней можно ни о чем не думать!

И он довольно потирает руки.

Ни о чем не думать... Если бы я могла как он. А у меня и эти сорок дней, и весь год, и вся жизнь — чтобы думать... Сколько еще лет мне суждено таскаться со своим «дарованием», которое все в один

Литературно-художественное издание / Әдеби-көркем басылым

КОЛЕТТ
СТРАНИЦА

Ответственный редактор Екатерина Дубянская
Художественный редактор Татьяна Павлова
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Людмила Дубовая, Ольга Попова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 06.03.2025.
Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 21,15. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®,
115093, Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге,
191024, Санкт-Петербург,
Херсонская ул., д. 12–14, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Отпечатано в России.

Өндіруші: «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» ЖШҚ —
АЗБУКА® тауар белгісінің иесі,
115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
Даниловский муниципалдық округі,
Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы,
191024, Санкт-Петербург,
Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін
растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А. www.pareto-print.ru



A-NAM-37277-81-R